

взаимосвязано друг с другом? А может быть, это и не нужно знать? Может быть, гораздо важнее для нас *быть* в процессе? Время нашего занятия истекло. Я благодарю вас за работу. Всего вам доброго.

П: Спасибо вам. До свидания.

* * *

Преподаватель входит в аудиторию..

С. А. Лушаев

**Топологические метаморфозы слова:
от речи к экрану
(к анализу у-словности присутствия)***

Образ человека – слово. Все, имеющее место, имеет его через слово. Слово делает человека уместным. Человек образован словом, у-словен. Кем-то и чем-то он становится только через слово. Через слово (слово матери, отца, друга, учителя, Бога) он обретает форму. Человек обнаруживает себя как место-имения-слова, как «я» и как «мы». Он – место для слова и, следовательно, для мира.

В слове тела обретают место, присутствуют. Имея тело, человек имеет для него место. Бессловесное тело – тела не имеет. *Иметь* тело – значит быть словесным существом; *иметь* тело (слово, мысль) – значит *именовать*. Человек вмещает слово, слово вмещает человека.

Но если человек имеет место через слово, то и у слова *есть* место. Места, в которых «бывает» слово, разнообразны. У слова – своя топология. Устное слово воздействует на человека иначе, чем слово, запечатленное на глиняной дощечке, папирусе или пергаменте. Порядок чтения свитка – иной, чем порядок чтения книги, восприятие «газетного» слова отлично от восприятия слова, считываемого с «экрана». Зависит ли образование человека – постольку, поскольку образ имеет языковую форму – от того, где и как локализовано слово? Зависит ли «образ мыслей» от места-расположения слова? Какие возможности дают и какие ограничения накладывают на человеческое сознание те пути, которыми слово исходит от человека и приходит к нему? В какой мере индивидуальная и коллективная формы человеческого бытия зависят от топологически-конкретного воплощения слова?

* Материалы к лекциям по курсу «Философская антропология».

История слова в ракурсе его топологической конкретизации – это история телесного обособления слова от человека, от его говорящего и поющего тела. Оставляя в стороне вопрос о том, что лежит в основе того или иного типа культуры – слово и его место-расположение или, напротив, культура, изобретающая «под себя» способ обращения со словом, рассмотрим те топологически конкретные формы, которые определяются характером сочленения тела слова и тела человека¹. Какова цель такого рассмотрения? Она состоит в том, чтобы **исследовать взаимосвязь между фигурами у-слового (человеческого) бытия и формами отношения человека к миру и самому себе, или, другими словами, рассмотреть то, как эти формы соотносятся с тем, в каких телах и каким образом осуществляется у-словность человеческого присутствия в мире.**

Реализация этой цели предполагает описание и анализ основных человеко-образующих (об-у-словливающих мироотношение и мировидение) форм речевой активности человека. Таких форм в первом приближении две: *сказывание/вслушивание* и *письмо/чтение*. Письмо/чтение как форма у-слового бытия в мире существенно модифицируется в зависимости от того, каким образом слово оказывается предъявлено читателю. Можно выделить три основных формы письма/чтения, а стало быть – три способа визуализации слова в текстовую реальность: это 1) рукопись, 2) печать

¹ Маклюэн полагал, что характер общества и культуры зависит от смены средств коммуникации, но это, по нашему убеждению, существенно упрощает проблемы. Логика трансформирования культуры формируется как равнодействующая многих сил и процессов. Инструменталистскую по своей природе концепцию Маклюэна, отводившего решающую роль в развитии общества смене средств коммуникации, следует признать редуccionистской, но толчок, который получили гуманитарные науки (в том числе – философские), благодаря тематизации средств коммуникации как движущей силы трансформации социума был, бесспорно, весьма плодотворным. Как пишет К. С. Пигров, «даже если мы не можем принять парадигму, утверждающую решающую роль средств коммуникации... /.../ тем не менее инструментальность не может игнорироваться (Социальная философия : учебник. СПб. : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2005).

и, наконец, 3) виртуальная симуляция текста на экране (графика, печать, экран)². Ниже мы рассмотрим уже реализованные в человеческой истории формы топологической конкретизации слова и те возможности, которые этими формами определяются.

1. Устная речь: говорить и слушать

Исходная локализация слова – устная речь, озвученное дыхание: слово рождается из согласного усилия грудных мышц и голосовых связок, языка и зубов, гортани и губ... Устное слово мы сначала *слышим* и только потом – видим того, кто его произносит. Видение человека, произносящего слова, факкультативно для его восприятия³. Говорящий и слушающий

² Интересный опыт «ландшафтного анализа» сращений тела и текста в «миг интенсивного соприкосновения текстуры текста и границы тела» (с. 28) не так давно был осуществлен в работе Е. А. Иваненко, М. А. Корецкой, Е. В. Савенковой (См.: Иваненко Е. А., Корецкая М. А., Савенкова Е. В. Текстура текста: Персей, шит, Медуза // *Mixtura verborum* 2004: пространство симпозиона. Самара: Самар. гуманитар. акад., 2004. С. 25–40). Эти авторы выделили и проанализировали «культурные тела» (такowymi оказываются тела, создаваемые в процессе применения тех или иных техник письма/чтения тестов), формирующиеся в практиках работы с глиняными табличками, с папирусным свитком, со средневековым кодексом, печатной книгой и с текстом на виртуальном носителе. Такой ракурс в исследовании текстов, несомненно, представляет большой интерес и работа в данном направлении должна быть продолжена. Мы в этой работе не будем анализировать конкретные формы сращений тела и текста и производимые в таких (каждый раз особенных) актах письма-чтения эффекты и, соответственно, «культурные тела», но ограничимся рассмотрением только самых общих форм бытования связки человек-слово, не вдаваясь в особые формы сращения человека и слова, в устной речи, в рукописной традиции, в пространстве печатных и электронных форм взаимодействия со словом.

³ Можно слышать и не видеть того, кто говорит. Устное слово отделяется от тела, и его акустический образ распознается сам по себе, как особый фонетический организм (тело слова). Однако видеть говорящего – значит лучше и точнее понимать его: сопровождающая произнесенное слово мимика и жестикация – «путеводные знаки» понимания.

не могут находиться далеко друг от друга. Они связаны в пространстве и времени. Человеческий голос озвучивает слово, а звук вняттен лишь тому, кто находится рядом. Устное слово «привязано» к говорящему, оно ситуативно и эмоционально насыщено. С определенной дистанции можно дать знать о своем присутствии криком, но даже на расстоянии 20–30-ти метров вести осмысленную беседу, внимать развернутой речи трудно, если вообще возможно. Представить себе предельную дальность приема фонетически упакованного сообщения можно на модели театра. Пространство театра – это пространство, специально созданное для того, чтобы присутствующие в нем зрители могли видеть и слышать артистов на большом расстоянии. Условием приема сообщения с расстояния в несколько десятков метров является полная тишина на стороне тех, кто ему внимает.

Фонетическая форма бытования слова накладывает жесткие ограничения на тематику и объем передаваемых ближним и дальним (потомкам, другим поколениям) посланий. По причине ограниченности пространственного и временного дальнего действия устного слова, а также в силу ограниченности объема индивидуальной и коллективной памяти, бесписьменные культуры владеют устными речевыми жанрами в существенно больших, чем письменные народы, размерах. Коллективное, родовое сознание (слишком пространное для того, чтобы отдельный индивид мог удерживать и хранить его в неструктурированном виде) организуют своеобразные мнемонические машины, позволяющие передавать от поколения к поколению, от человека к человеку не только язык в его лексическом и грамматическом своеобразии, но и пространственные повествования о происхождении мира, о богах и героях, о деяниях предков и т. д. Миф, эпос, сказка, притча, песня, поговорка, загадка, заклинание и т. д. – представляют собой разнообразные мнемонические машины, которые посредством ритма, рифмы, стихотворного размера, распева, устойчивых речевых фигур (тропов) работали на сохранение коллективного сознания народа.

Традиционные техники упорядочения устного слова были одновременно и особыми эстетическими техниками. Слово мифа и эпоса существенно отличалось от языка повседневного общения, это было особенное слово, особым образом сло-

женная речь. Соответственно, оно требовало людей, способных удерживать его в памяти и достойно воспроизводить (аэды, барды, сказители). Сказители были хранителями, исполнителями и безвестными творцами языка, структурированного в повествование, они же были учителями и воспитателями народа, актуализировавшими своими говорящими (поющими) телом родовое (племенное) сознание в мирособирающее повествование мифа.

Воспроизводимость мира, человека, социальных установлений и т. д. в слове мифа (космогонического, антропологического, солярного, календарного...) и в слове эпического сказания была священным (для архаического человека) актом воспроизводства космического порядка, включая сюда и порядок человеческой жизни. Особое, общее всему племени (речевое) пространство архаического нарратива (пространство мифа, позднее – пространство эпического сказания) было культурной формой, удерживавшей у-словность человеческого присутствия.

Тело речи и тело рода (народ и «язык»). Устная речь неотделима от человека, она жива его голосом. Опыт и знания сохраняются уже на уровне обыденной, разговорной речи, но семантическая предопределенность понимания мира – еще не повествование, не связный рассказ о мире и человеке. Структурирующие жизнь рода нарративы (миф, эпос, легенда) представляют собой своего рода языковой ландшафт, сформированный на родной ему «почве» слов и словосочетаний. В этом обжитом, связанном логосом ландшафте и обитают люди архаических культур.

Передаваемое изустно повествование представляет собой уплотненную в текст анонимную речь этноса. Объем знаний, которые человек способен сохранить и передать своим потомкам посредством их «оглашения», ограничен. Миф, эпос, сказка, загадка, поговорка, песня, etc. не предполагают индивидуального авторства. Эпоха сказителей – эпоха «народного», безличного слова.

Особенность устного слова в том, что хотя оно и позволяет человеку удерживать дистанцию по отношению к вещам, но при этом не предполагает рефлексивной дистанции по отношению к самому себе. Слово мифа – это наивное

слово. Его принимают так, как принимают сами вещи. По-другому и быть не может в ситуации, когда слова и высказывания, включая сюда и большие нарративы, воспринимаются подобно деревьям и ручьям, цветам и скалам, то есть как что-то само собой разумеющееся, как континуум слова-и-вещи. Только авторское слово, только высказывание, за которое отвечает конкретный человек, может быть превращено в предмет критического анализа. *Бытовые высказывания* допускали проверку на истинность и в дописьменную эпоху (отдельный человек может ошибаться, забывать, путать, он даже может, преследуя свой частный интерес, сознательно вводить собеседника в заблуждение, «водить его за нос»), но большие, «родообразующие» высказывания (миф, эпос) воспроизводились, передавались и сохранялись как изначальная и несомненная истина; их не ставили под вопрос, не испытывали на предмет истинности или ложности. И все это потому, что в них не подозревали вымысла (миф – не высказывание, не *чье-то* суждение, а *данность*).

Архаическая культура, покоящаяся (в вербальном плане) на фундаменте устного (наивного) слова, не предполагала института «образования», который отвечал бы за формирование и социализацию потребного ей человека. Язык и миф как хранители знания, как человеко-образующая «логосфера» не нуждаются в «школе». Ключевые для этноса тексты передаются от поколения к поколению и усваиваются органически.

Итак, первоначально слово было неотделимо от говорящего тела. В эпоху архаики у тела и слова была общая судьба. Исчезновение племени, рода означало и исчезновение языка. С утратой «родового тела» исчезали и повествования, выражавшие символическую, душевно-духовную составляющую жизни этноса.

Как видим, площадка, на которой разворачивалась дописьменная жизнь народа, была очень узкой и не давала исчезнувшему роду возможности реинкарнации в тело другого рода, другой культуры (как это не раз происходило с культурами письменных народов). Тело как пространственно локализованный исток и «кладовая» речи топологически предельно конкретно: иметь дело со словом – значит иметь

дело с определенным человеческим телом (со своим собственным телом или с телами других людей). Слово в архаических культурах не только оглашалось, но и пояснялось телом – интонацией, силой голоса, его тембром, жестикulyацией, мимикой, позой говорящего – и той обстановкой, в которой «текла речь». *Между человеческим телом и словом не было «завора», не было посредника, который мог бы нести слово без помощи тела* и представить слово как особую реальность. Только изобретение письменности позволило слову обособиться от человека.

В дописьменном обществе слово сказывалось (говорящим телом), но тот, кто готов был бы «взять» слово «на себя» и нести за него ответственность не в порядке дела (слово – оскорбление, слово-преступление, слово-лжесвидетельство и т. д.), а в порядке его истинности/ложности или в его риторически-стилистическом достоинстве, еще отсутствовал. Того, что помимо субъекта речи и действия возможен еще теоретический и эстетический субъект, архаика не знала; рождение теоретического субъекта стало возможно только с изобретением письменности, заморозившим подвижную речевую стихию.

2. Записанное слово

(графика речи; к топологии письма и чтения)

Письмо и «большие общности». С умножением знаний, с ростом численности архаических сообществ, с зарождением потребности в точной фиксации, воспроизведении и передаче важных для поддержания родовой (племенной) жизни нарративов и этических предписаний (сакральные тексты, обычное право), с возникновением государственных институтов и с появлением потребности в фиксации и трансляции директив властных инстанций, в закреплении межгосударственных договоров, etc., переход к письменной культуре оказался необходимым условием сохранения, роста и усложнения социума на переходе от родо-племенной к территориально-государственной форме его самоорганизации. Обществу, в котором коммуникация и властные отношения не могут уже осуществляться через непосредственный, личный контакт людей, требуется «нечеловечески надежный» и вместе с тем податливый материал для сохранения и трансляции «ве-

шего слова», то есть такой посредник, который был бы способен фиксировать и хранить слово в форме, допускающей его актуализацию тогда, когда это необходимо. По справедливому замечанию К. С. Пигрова, «переход к цивилизации немислим без фиксации речи в письменном слове»⁴.

Изобретение различных систем идеографического письма (иероглифического, слогового, буквенно-фонетического) решало одну и ту же задачу перевода человеческой речи из нестабильного звукового режима в режим графической визуализации⁵. Теперь слово не слушают, но воспринимают его «на глаз», «считывают» с поверхности⁶, на которой оно процарапывается (продавливается) или наносится сверху красящим веществом.

Идеографическая форма «работы со словом» – мощный стимул общественного развития и в то же время – сила, стабилизирующая общественный порядок и поддерживающая целостность этноса. Люди, которых разделяет пространственно-временная и культурная дистанция, получают возможность встречи и «переговоров» на нейтральной территории текста⁷.

⁴ Пигров, К. С. Социальная философия : учебник. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. С. 208.

⁵ Переходных форм от устной речи к речи письменной существовало немало. Идеографическому письму предшествовали иные способы фиксации сообщений: пиктограмма, узелковое письмо и др.

⁶ Поверхность для письма должна быть достаточной по величине, чтобы запечатлеть связное высказывание. Записи, оставляемые в твердом материале (прежде всего – в камне), увековечивали сакральную и политическую жизнь общества; записи на более податливом материале можно было накапливать, переносить с места на место, копировать (переписывать); эти последние могли использоваться не только в религиозной и официально-государственной, но также в повседневной жизни людей, в быту.

⁷ Письменность создала возможность сообщения не только разделенным в пространстве и времени людям одного этноса, но также и для диалога и обмена между представителями разных культур, разных языков. Через перевод инокультурный текст входит в пространство своей, родной культуры, что дает возможность вести межкультурный диалог на площадке текста. «Культурные монады», благодаря письменности, обретают окна и получают возможность понять свою культуру как особенную в том или ином отноше-

Рукопись и устная речь в горизонте различий. Что же отличает письменную речь от устной, а что ее с ней сближает? Письменная речь, как и устная, сохраняет непосредственную связь с человеческим телом, но «органом речи» здесь оказывается контролируемая взглядом рука. Движение голосового аппарата создает звуковой образ слова, а движение руки – его графический образ. Манера устной речи (ее интонация, тембр, темп, ритм, etc.) всегда индивидуальна и всегда сращена с целостным образом человека (поза, жестикация, выражение глаз, мимика и т. д.), но и след, оставляемый пером, уникален: манера письма – это душа, собранная на кончиках пальцев, ее неповторимый графический образ.

Но как ни важно сходство устного и письменного слова, особенно осязаемое на фоне печатных и электронных способов презентации слова, но еще важнее то, что их друг от друга отличает. Уже авторская рукопись представляет собой высказывание, обособленное от тела ее создателя. Автограф – это абстракция тела. Акт переписки рукописи еще глубже отделяет текст от телесного присутствия того, кто его создал (от писателя). Присутствие автора в рукописи становится с этого момента невещественным, абстрагируясь в его логико-смысловую, образно-символическую и стилистическую целостности. Копия, снятая с автографа, сохраняет при этом связь с телом переписчика, но эта связь уже не имеет никакого отношения к содержательно-стилистическому единству рукописи.

ни, так как теперь они могут заглянуть в соседние окна (в тексты других культур) и увидеть отличие их смысловых интерьеров собственного дома (своей культуры). «Обогащение» одной культуры за счет взаимодействия с другими культурами (проблема «заимствований») на «почве» текста не воспринимается как культурная ассимиляция, поскольку взаимодействие с иной культурой здесь опосредовано рефлексией, а потому – свободно, не вынужденно. Заимствование из другой культуры через знакомство с текстом всегда опосредовано рефлексией, следовательно, входит в домашнюю культуру уже переработанным, а потому не воспринимается как «культурная агрессия». Текст оставляет за читателем право самому решить, как к нему отнестись, он не навязывает себя так, как один человек может навязывать себя другому человеку, один народ – другому народу. В дописьменных культурах возможность «холодного» – опосредованного текстом, медленного, ненасильственного – взаимодействия друг с другом отсутствовала.

В одну и ту же речь, в один и тот же разговор нельзя войти дважды. *Графический способ выражения мысли, переживания, образа отчуждает их от говорящего и превращает в независимую от писца «вещь», в рукопись.* В строчках рукописи речь-река навеки останавливает свой бег. Теперь в эту реку можно войти и дважды, и трижды, то есть столько, сколько потребуется.. Застыв, замерзнув, речь-река остаётся (по своему словесному «составу») той же самой, что и в момент, когда в рукописи была «поставлена точка», в то время как человек, читающий рукописный текст, от одного прочтения к другому меняется. Меняется человек – меняется и смысл, извлекаемый им из произведения. Вербальная оболочка высказывания «замерзает», а смысл его обретает «текучесть». Каждый читатель вычитывает в одном и том же тексте разное, поскольку разное в него вчитывает. Прочность, долговечность графического «буквализма» письма отделяет текст от автора, а автора – от текста. Так созданное писателем высказывание⁸ превращается в своеобразную («словесную») вещь, опосредующую событие его встречи с неведомым адресатом. Слову дают место; в результате в роли читателя оказывается не только собственно «читатель», но и его автор. Неизменность записи позволяет писателю взглянуть на собственную речь глазами «другого», что способствует развитию способности к саморефлексии и формированию навыков самоанализа и самоконтроля.

Но что еще важнее, создавая письменный текст, который – в пределе – может прочесть «каждый», пред-полагая «неизвестного читателя», исходя из «неопределенности адресата», писатель тем самым расчищает пространство для актуализации трансцендентального субъекта. Произнося устный текст, оратор обращается к определенной аудитории, автор текста, даже в том случае, когда он пишет для «целевой аудитории», все же не может не считаться с тем, что текст прочтут и те, на кого он не рассчитывает⁹.

⁸ Здесь мы оставляем в стороне работу переписчика, который выполняет черновую работу фиксации и тиражирования авторского текста.

⁹ «Трансцендентальный эффект», впервые возникающий в ситуации дислокации речи вне человеческого тела, производится пе-

Новую ситуацию в отношении человека к слову (и к чужому слову и, о чем уже шла речь, к своему собственному) можно выразить формулой: высказывание неизменно, внимающий высказанному – изменчив. В ситуации письма/чтения мы извлекаем новые смыслы не за счет вольного или, что бывает чаще, невольного изменения «тела текста» «под себя» (так происходит в сфере устного общения¹⁰), а за счет усилия понимания непонятного. Записанная речь *делает ощутимым непонятное в тексте* и требует от читателя приложить усилия для его понимания: непонятное требует повторного прочтения, требует анализа, сопоставления с другими текстами, возвращения к темным, etc.

Работу над высказыванием приходится интенсифицировать также и потому, что пишущий может рассчитывать на неизменность своего высказывания, но он не может представить себе с полной определенностью того, кто (какого рода люди) будет читать его текст. Пишущий, в отличие от говорящего, обращается не к определенному другому (другим), но к неизвестному другому, к «другому вообще». Соответственно, приходится продумывать и артикулировать мысль, рассказ, оценочное суждение таким образом, чтобы его содержание «дошло» до читателя. Иначе говоря, фиксация высказывания сведет к интенсификации работы со словом и смыслом, с архитектурным построением речи и мысли как со стороны автора высказывания, так и со стороны читателя.

Чатным и электронным текстом намного более эффективно, чем текстом рукописным. Текст – конструкция субъекта (автора) и предназначен субъекту (читателю как инстанции, воссоздающей смысловое единство текста) – таково априори письменного, а в особенности – печатного и электронного высказывания. То, что фактически автор и читатель всегда конкретизируются и присутствуют в качестве Ивана и Петра, не отменяет конструируемой самим актом письма трансцендентальной субъективности, к которой оказываются «подключенными» и автор, и читатель.

¹⁰ Так происходит в устном общении: люди *пересказывают друг другу то, что «они сами» слышали или читали, но делают это «своими словами», незаметно для себя искажают, меняют смысл того, что они действительно «слышали своими ушами».*

Работа со словом приобретает теоретический, рефлексивный, а не практический характер. Разговорная речь, произведения «кустного народного творчества» устанавливают и удерживают дистанцию между человеком и окружающими его вещами и людьми, но не дают возможности удерживать дистанцию по отношению к слову, не позволяют рефлексивно «подвешивать» говорящего в качестве говорящего, в качестве того, «кто» говорит. Только с появлением письменности, отделяющей слово от сказывающего и позволяющей созерцать не только вещь, данную словом и в нем магически присутствующую¹¹, но само слово (слово как вещь, слово как сочетание начертанных на папирусе знаков), в поле зрения оказывается и предмет высказывания, и **само слово**, его логическая определенность, его многозначность, выразительность, пластичность, etc. Только внешняя фиксация слова открывает возможность аналитической работы над языком, над его логико-смысловой, грамматической, синтаксической и фонетической составляющими. Письменная речь не только обращает на себя внимание своим особым «складом», она, оказавшись перед глазами читателя в качестве устойчивого тела текста, только и возвращает пишущему – пишущего (как субъекта письма), а читающему – читающего (как субъекта чтения и истолкования прочитанного).

¹¹ В магическую эпоху слово и вещь сплетены в одно целое, внутренне связаны друг с другом. Даже в письменных культурах, практикующих работу со словом как таковым (риторические украшения, стилистические ухищрения «специалистов по словам»), отделенную от практики названия вещей, магическое отношение долгое время сохраняется в неприкосновенности. Письмо подтачивает магическое отношение к слову, дает возможность укорениться новым практикам обращения со словом, но не может разрушить его. Это оказалось под силу только печатному слову. Неразрывность слова и произносящего (записывающего) его тела, слова и обозначаемой им вещи держалось долго. Так, например, русские цари (в допетровскую эпоху) никогда не писали сами, текст они диктовали, но не по причине «безграмотности», – в «словесном учении» все московские цари были людьми сведущими. Они опасались порчи, которую недруги могут нанести по следу, оставленному рукой властителя. Автографы сохранились лишь от Бориса Годунова в его бытность конюшим боярином. Став царем, Годунов писать перестал.

Зафиксированное слово обретает новое качество. Оно уже не звук, исходящий от человека и не имеющий самостоятельного, не зависимого от его тела топоса, но особая вещь, существующая постольку, поскольку хранит на своей поверхности всегда открытые для чтения знаки. Папирус и книга – это вещи, представляющие мысль и образ как нечто существующее отдельно и от человека, и от вещи. Обернувшись последовательностью знаков, человеческая речь, а с ней и человеческий дух отделяются от эмпирического субъекта речи и обретают самостоятельность 1) по отношению к автору, 2) по отношению к реципиенту и 3) по отношению к предмету речи.

Слово, сохраняя способность именовать вещи, действия и отношения и представлять их «умственному взору», когда они не даны в непосредственном восприятии (в своей графической форме), обращает внимание читающего на того, кто сочинил (написал) текст, и на того, кто прочел его, то есть на субъекта письма/чтения.

Своеобразие письменной речи можно прояснить, прибегнув к аналогии. Представим себе, что за тонированным стеклом шкафа в определенном порядке расположены предметы. Стекло (1) позволяет тому, кто смотрит сквозь него, видеть и сознавать то, что находится за ним (в глубине шкафа), но в то же время, в качестве тонированного, оно может (2) привлечь внимание и к самому себе как к стеклу, став предметом специального рассмотрения. Но глядя на стекло, мы (3) можем увидеть в нем (если особым образом сфокусируем взгляд и нацелим его на наше отражение в затонированном стекле) самих себя, смотрящих на (сквозь) стекло. Что же происходит, когда наше восприятие смещается?

1) Взгляд, отраженный от вещи, помещенной за стеклом (то есть от предметного содержания высказывания), возвращает мне меня как отличное от вещи существующее, как того, кто созерцает и сознает (как того, кому она дана) то, что происходит в текстовом пространстве на уровне его предметного содержания.

2) Взгляд, отраженный от стекла (от моей записанной речи), возвращает мне меня как отличное от слова существующее (как того, кто владеет словом и кем владеет слово) и побуж-

дает обратить внимание на способность речи представлять моему умному зрению слова-как-вещи, на самостоятельную красоту и глубину языка, логоса.

3) Наконец, взгляд, отраженный от моего отражения в тонированном стекле (в письменной речи), возвращает мне меня как существо, *отличное от опознанного в тексте рече-образа* (тот, кто узнал в отражении себя, тот отличает себя от своего ограниченного речевого среза), то есть возвращает мне меня как того, кто читает и судит о прочитанном, и как того, кто отличает себя от себя-как-автора-текста. Это последнее различие, обратим на это внимание, позволяет удерживать не только сам текст, но и *акт его чтения-понимания*, акт, в котором обнаруживает себя мое «я», «я» читателя, и, соответственно, «я» писателя как точки различия «я» и любого его конечного выражения. Так рождается субъект теории.

Итак, с изобретением письма меняется способ человеческого бытия в мире: теперь рядом со словом мифа оказывается опосредующий отношение человека к миру, к себе и к другому *дискретный письменный текст* (авторское высказывание). Язык оказывается тем «пространством», тем измерением, в котором человек обнаруживает себя как присутствующего в мире. Овладение письменной речью учит (исторически – человека, онтогенетически – ребенка) отделять слово от вещи, мысль от слова, а содержание мысли от мыслящего субъекта, от того, кто мыслит. Текст дистанцирует человека и от вещи, и от слова, и от скорлупок собственного «я» (тот, кто написал текст, – уже не «я», он, написавший, меньше, чем «я» как тот, кто читает «отвердевшее высказывание» и обдумывает новое произведение). Общение с письменным текстом незаметно меняет человека. Письменная речь – это особая техника обращения с вещами и с самим собой, это техника опосредованной работы с вещами через работу со словами и смыслами.

Дистанция, свобода, отрешенность, индивидуация.

Появление письменности, размещение высказывания в «теле» отделенной от человека вещи (в рукописи) было радикальной новацией в способе существования человека как «сло-весного существа». Появление рукописи означало, что слово обрело относительную самостоятельность от тела. Письмен-

ность дала возможность хранить и использовать в общественной и частной жизни большое количество высказываний, она усложнила речь, породив множество новых речевых жанров. Смыслы и образы нашли для себя особое, отделенное от человека место, когда их локализовали в стопках глиняных табличек, в свитках, в книгах и в собраниях рукописей (в библиотеках). Слово, запечатленное в процессе письма, превратилось в предмет, над которым можно долго и тщательно работать, фиксируя результат этой работы в новых рукописях. «Вселенная рукописей» оказалась на несколько порядков просторнее и продуктивнее «вселенной живой речи».

Но освобождение слова от человеческого тела означало вместе с тем и его *отчуждение от человека*. Если первоначально, исходное высказывание (авторская рукопись, автограф) хранило живую, непосредственную связь с автором (хранило след его руки, его особенный почерк), то возникающая вместе с письмом профессия переписчика (писца) разрывала связь рукописи и породившего ее мыслящего тела (автограф исчезает в копии, в «списке») ¹². И хотя рукопись сохраняет связь с человеческой телесностью, оставаясь «рукодельем», но принадлежащую писцу индивидуальную манеру наносить знаки, используемый им в работе шрифт, цвет чернила и проч. мы уже не соотносим ни с содержанием высказывания, ни с личностью автора. Наше внимание целиком концентрируется на восприятии содержательно-смысловых и эстетических компонентов текста ¹³.

¹² Только с появлением печатной книги автограф занял новое и весьма заметное место в «обороте» слов и текстов. С изданием книг массовыми тиражами и широким распространением практики «перепечатки» текстов с других печатных изданий, авторская рукопись получает новый статус – статус оригинала, статус рукописи, фиксирующей авторскую волю. Автограф остается точкой отсчета при первом издании произведения и при тех его переизданиях, которые претендуют на точность его печатного воспроизведения (академические, научные издания текстов).

¹³ Если в переписанном произведении мы абстрагируемся от индивидуально-телесных инвестиций в рукопись (хороша именно та рукописная копия, которая не задерживает внимания на своей графической стороне), то зато когда к нам в руки попадает автограф

Концентрация внимания на письменной речи отвлекает читателя от подручного и наличного сущего и располагает его в образно-смысловом, воображаемом пространстве. В момент создания или чтения текста человек – на время – «обездвиживается», а его внимание выводится за пределы окружающего мира. Так посредством текста человек обретает власть над вещами «первой реальности»: он может по своему произволу *уходить из мира вещей* в мир слов и *возвращаться из мира слов в мир вещей* (в повседневный мир), он может пребывать «в мире слов и смыслов» столько, сколько необходимо для того, чтобы выразить мысль, образ, символ или чтобы понять их. Письменное слово, локализованное вне человеческого тела, оказывается тем топосом, в котором человек *обретает большую, чем прежде, свободу как от вещей, так и от самого себя* (свободу от собственных страстей, желаний и страхов).

Обретение словом места вне речевых органов человека – подлинная революция в области «техники работы с сознанием» и управление собственным телом. *Свобода слова* была завоевана тогда, когда слово отделилось от человека. Освобождение слова было, одновременно, и шагом на пути к высвобождению человеческой индивидуальности.

Формирование двуединого пространства письма/чтения (скриптосферы) весьма способствовало индивидуации человека, его выпадению из кокона родо-роевого уклада архаических обществ. Скриптосфера так устроена, что вовлеченный в нее человек – по причине объемности и разнообразия «рукописного царства» – получает возможность отбирать из множества текстов те, которые «важны», «интересны», «прекрасны» или «истинны» лично для него.

Рассматривая процесс индивидуализации и обособления «роевого человека» с пространственной точки зрения, можно зафиксировать существенный сдвиг в пространственно-телесной актуализации нарративов по сравнению с эпохой устного слова. Миф и эпос исполнялись *в группе и для*

(особенно автограф рукописи известного писателя), мы обращаем внимание на индивидуальные особенности авторского почерка, на те его характеристики, которые сохраняют авторское присутствие.

группы. Рукописный текст (свиток) (отрывок из книги) также допускает чтение вслух, для слушателей. И все же чаще каждый читал «для себя», в одиночку углубляясь в содержание произведения (книгу трудно прослушать целиком, не всякий текст можно воспринять на слух по причине усложненной грамматики и синтаксиса письменной речи). Читая, человек *обособляется*, он *ищет для чтения уединения*, так как внешние шумы, присутствие других людей мешает сосредоточиться на восприятии текста. Процесс обособления, отвлечения от «других» разворачивается и в смысловом измерении «скриптосферы», *где каждый торит свою тропу* и выносит из скриптосферы то, что ему ближе, то, что ему по силам, что резонирует с его душевным складом. *Взаимодействуя, общаясь* – через посредство текста – с людьми, которые отделены от меня в пространстве и во времени, я в то же время *обособляюсь, дистанцируюсь* от своих ближних, от тех людей, с которыми я соседствую в настоящем.

Разнообразие содержательных и стилистических качеств текстов позволяет человеку сформировать свой собственный «круг чтения». В каком-то смысле он читает, чтобы перечитывать, то есть углубляться в содержание тех книг, которые остановили на себе его внимание (очаровали, поразили, озадачили). Хотя корпус авторитетных (обязательных) текстов задается традицией, но у читателя всегда есть возможность выйти за пределы канонических, образцовых произведений и сформировать свой собственный круг чтения¹⁴.

Социокультурная функция скриптосферы амбивалентна: с одной стороны, она создает общее образно-смысловое поле для людей, принадлежащих к одной культуре (канонический набор книг, авторов), с другой, она работает на дифференциацию и обособление читателей. Рождение читателя онтогенетически предшествует рождению автора. Автор «вырастает» из читателя, точнее – прорастает сквозь него. Чел-

¹⁴ Не стоит забывать и о том, что, имея перед глазами текст, перечитывая его и размышляя о нем, мы можем прочесть его иначе, чем это делают «другие», так что даже работая с каноническими текстами, человек получает возможность формироваться как уникальная личность. Чтение – это всегда истолкование, а одно истолкование никогда полностью не совпадает с другим.

век читающий и пишущий обособляется от рода, от родовой стихии, опираясь на те новые возможности отвлечения и индивидуации, которые ему предоставляет визуализация речи.

Обособлению индивида скриптосфера способствует уже тем, что она существует, располагаясь в природном, космическом, социальном, бытовом пространстве. Она – «в» мире, но при этом всё в себя включает, всё в себе содержит. С формированием скриптосферы присутствие в жизни смысла, логоса становится зримым. Каждый свиток, каждая книга, а тем более – множество свитков и книг, собранных в одном месте, указывают на вход в идеальное смысловое пространство. Вхождение в него означает «смерть» для повседневного мира. Пока читатель читает, а писатель – пишет, они блуждают «в мирах иных», и в этом блуждании обретают свободу от диктата «первой реальности», от забот и радостей в пространстве, ограниченном рождением и смертью. Сознание читающего (пишущего) бодрствует: движение в образно-смысловом пространстве рукописного текста требует концентрации внимания, напряженной работы мысли и сердца. Читающее тело обездвижено; тело человека тут, его мысли и душа – далеко. Мысль о том, что есть особый, идеальный мир, органична для человека, который попеременно живет в двух мирах: в «мире книг» (свитков) с его внутренним идеально-смысловым пространством и в мире повседневном, в мире смертей и рождений.

Осмелюсь высказать предположение, что платоновское учение об идеях («мир идей») сформировалось не без влияния практик письма и чтения. Ведь Платон, как мы знаем, был не только слушателем и собеседником, но и человеком, который много времени проводил за письмом и чтением. Для того, кто погружен в «скриптосферу», мысль о том, что бытие наполняющих ее смыслов и есть бытие подлинное, истинное, а физический мир – не более чем темная пещера, это не просто умозрительное суждение, это метафорическое выражение читательского и писательского реального опыта попеременной принадлежности разным мирам. До тех пор, пока слово не отделялось от говорящего тела, до тех пор и заключенные в нем смыслы и образы мыслились как неотделимые от вещей и тел. Магическое сознание не мыслит смысл, смысловую определенность («что-то») в изоляции от определенности чувственно воспринимаемой вещи. Возможность отде-

лить вещь от ее смысла, мыслительная работа в зазоре между эмпирически данной вещью и ее значением, попытка отделить смысловую форму вещи от ее обнаружения в чувственном восприятии, как не тождественную, а подобную ему (вещи – тени эйдосов) появились именно тогда, когда слова отделились от говорящего тела и обособились в вещи-тексты, сконцентрировавшись в скриптосфере.

«Плетение словес». Возможности и ограничения. По сравнению с возможностями мнемонических машин дописьменной эпохи размер текста, которой может быть зафиксирован на папирусе, пергамене или бумаге, теоретически не ограничен. Без письменности как особой технологии речевой деятельности переход от первобытной архаики к цивилизованному обществу невозможен¹⁵.

Тематическое содержание литературы на порядок богаче тематического спектра текстов, сохраняемых устным преданием. Объем коллективной и индивидуальной памяти расширяется благодаря возможности ее фиксации «на внешних носителях». С изобретением письма появилась возможность сохранять в памяти не только деяния богов и героев, но и многое из того, что относится к текущей жизни людей, что

¹⁵ Если говорить о возможности существования бесписьменной цивилизации, то таких случаев история не знает. В качестве примера бесписьменной цивилизации чаще всего упоминают о цивилизации инков. Но назвать эту цивилизацию полностью бесписьменной едва ли возможно. Известно, что инки пользовались «узелковым письмом», что позволяло им фиксировать все, что поддавалось подсчету и выражалось числом. Испанские хронисты донесли до нас сведения о том, что во времена правителя Апу Кака в Куско существовал «университет», а инки писали буквами и знаками на бабановых листьях. По каким причинам инки отказались от письма знакового и перешли к «письму» узелковому («кипу») нет достоверных сведений. Однако хронисты рассказывали, что на момент завоевания испанцами находили следы исчезнувшей письменности. Так, есть свидетельства, что в Куско, в храме Солнца хранились деревянные доски в золотых рамах, на которых была записана история инков, есть упоминания о свитках с надписями, найденных там же, в храме. Впрочем, ни доски, ни свитки до нас не дошли. Характер инкской письменности до сих пор остается предметом споров лингвистов и историков.

производит на них впечатление, кажется важным, значительным. Это и политические события, и погодные аномалии, и переживания, и мысли.

Письменная речь расширяет горизонты об-у-словленности человека мира и делает его представления о действительности куда более подробными и детализированными, чем в дописьменную эпоху. Кроме того, письменный текст располагает к анализу; визуальная данность текста взывает к размышлению над его структурой, логикой, стилем, выразительностью и т. д., а вторым шагом – к рефлексии над структурой собственного мышления, исследующего логику текста.

Хотя в принципе ограничения на величину и на тематику текста, лимитированные объемом человеческой памяти, в письменных культурах были сняты (письмо способно выдержать сколь угодно длинную цепочку мыслей, фактов, описаний), тем не менее, величина текстов ограничивалась, с одной стороны, трудоемкостью письма и работ по изготовлению писчего материала (папируса, пергамента) и сохраняющих текст защитных покровов (футляр с крышкой для папируса, переплет для книги), а с другой – ограниченностью времени, которое читатель в принципе способен потратить на работу с текстом. Размер рукописи, таким образом, лимитируется конечностью человека, дискретностью всех проявлений его сознающего тела. Отсюда – дискретность литературных текстов, с одной стороны, и увеличение (не знающее имманентного этой форме речи предела) их количества и тематического разнообразия, с другой. Число «единиц хранения» в памяти культуры становится потенциально бесконечным, а размер одной «единицы хранения» увеличивается, но при этом, лимитированный дискретностью человеческого тела, остается «обозримым».

Однако и увеличение *единиц хранения* в архивах традиционных культур наталкивается на определенные препятствия. Трудоемкость создания и размножения свитка и средневекового кодекса, их высокая стоимость препятствуют широкому распространению рукописных текстов и наращиванию номенклатуры произведений, принятых на хранение. Ремесленный способ изготовления рукописи ограничивал объем и тематическое разнообразие создаваемых на этой основе текстов.

Традиционные общества и рукописная традиция. Мы едва ли погрешим против истины, сказав, что нацеленность великих культур прошлого на воспроизводство уже имеющихся образцов предопределялась их рукописностью. Оригинальные, необычные по стилю и содержанию произведения только в виде исключения могли «пробить себе дорогу», то есть получить «патент» на хранение в обществе, где размножение текстов было делом трудоемким и дорогостоящим.

Свиток, рукописная книга присутствуют в культуре до тех пор, пока их переписывают. Писать могли многие и о многом, но нельзя было рассчитывать на сохранение этого «многого» в культурном архиве. Запись на папирусе, пергамене или бумаге указывает на то, что именно следует помнить с позиции писателя, но помниться будет только то, что было многократно переписано. Акт переписки равнозначен признанию за тем или иным высказыванием, повествованием, теоретическим построением его публичного статуса. Рукопись – вещь, и как вещи ей угрожает множество опасностей. Вот почему существенное и долговременное влияние могли иметь только тексты, многократно переписанные, в разных местах хранящие.

Трудоемкость процесса производства свитка и особенно средневекового кодекса вынуждала общество и его писцов отбирать из массива текстов те из них, которые признавались достойными хранения и копирования. В традиционном обществе отбор «достойного записи» шел как на этапе создания новых текстов (тексты создавались с ориентацией на авторитетную книгу), так и на этапе их размножения (копирования)¹⁶.

¹⁶ Множество литературных произведений, не удостоенных многократного копирования, навсегда исчезли из поля зрения читателя. Что уж тут говорить о текстах бытового содержания. Люди делали множество хозяйственных записей, но срок их хранения чаще всего бывал невелик (если это только не были документы, на крупные владения земель или недвижимостью). Вспомним хотя бы, для примера, новгородские берестяные грамоты, сохранившие множество записей «бытового характера». Береста как писчий материал была доступна простому горожанину и служила для коротких записей хозяйственного, бытового, любовного характера, не предполагавших длительного хранения. Берестяные записи не сохраняли, не копировали, они сохранились случайно, благодаря особенностям новгородского климата и химическим свойствам бересты.

Локализация текста вне человеческого тела существенно расширила тематическое поле связанных высказываний, но рукописная форма их фиксации (хотя и не только она) **способствовала кристаллизации из массы разнородных рукописей немногих авторитетных текстов. Эти тексты и составили твердое ядро скриптосферы.** В древних и средневековых обществах они служили фундаментом, прочным основанием, на котором социум воспроизводил себя, длит свое единство во времени.

Поддерживаемое мощными институциями (церковью, государством) и читательским спросом ручное копирование манускриптов выступало в той же роли, что и позднейшее издание книг типографическим способом. С одной стороны, работа переписчика означала признание ценности текста и утверждение авторитета писателя, с другой, переписка книги уже была обусловлена авторитетностью произведения. Ориентация на авторитет (на образец) способствовала консервации и воспроизводству уже сложившегося в культуре круга базовых для нее идей, образов и символов.

Письмо и история. Передаваемое из уст в уста повествование (миф, эпическое сказание) способно хранить только вечное, только сказ о «начале» и о «силах», управляющих миром (сотворение мира, боги и их деяния, первые люди, родоначальники племени, герои легендарного прошлого и их деяния), но оно не может удерживать события, которые происходили недавно и происходят в настоящем. Устное предание не может установить историческую связь прошлого с настоящим (деяния дедов связаны с деяниями отцов и детей через общую для них соотнесенность с деяниями богов и мифических прародителей).

Только письменная речь делает возможной историческую память и историческую традицию. Традиция держится не на ограниченном по объему устном предании, а на «лето-писании», на подробной и точной фиксации всего, что скриптор признает достойным упоминания. Письменность впервые позволила фиксировать и описывать конкретные события, связывать их друг с другом, объяснять их (чем и занималась древнегреческая «история», латинская «хроника», славянская «летопись»). Запись происходящего существенно раздвинула человеческое сознание и придало ему временную глубину: то,

что записано, не обязательно «держать в голове», важно помнить, где хранится запись о том или ином событии, времени, народе, государе, подвижнике, и иметь возможность время от времени обращаться к «источнику» исторических сведений.

Но для формирования исторического сознания важна не только возможность фиксации конкретных событий, которые происходят здесь и теперь, но и возможность прямого обращения к далеким потомкам, к неизвестным «другим». Прямая связь с неопределенными другими, возможность перенестись в даль будущего времени через фиксации своей речи, через рассказ о «своем времени», через выражение своей мысли существенно трансформирует сознание, придает ему историческую глубину. Следует обратить внимание на то, что письмо не только обеспечивает возможность особого жанра письменной культуры – летописи, хроники, оно несет в себе историчность едва ли не в любом из своих проявлений (за исключением, быть может, записей бытового и хозяйственного назначения), сознание большой временной длительности производится самой конструкцией читателя, который когда-то и где-то может прочесть написанное. На историчность письма как такового обращал внимание О. Шпенглер: «Письменность – это великий символ дали, и не только в пространственном смысле, но в первую очередь – длительности, будущего, воли к вечности. Речь и слушание совершаются лишь вблизи и в настоящем; однако при помощи письма человек обращается к людям, которых никогда не видел или которые даже еще не родились, и голос человека становится слышен спустя столетия после его смерти. Письмо есть один из первых отличительных признаков исторического дара»¹⁷.

Письмо и образование. Разным людям нужны разные знания, и доступ к ним (со времен изобретения письменности) предполагал освоение техник письма и чтения. Разрастание корпуса авторитетных текстов не позволяло ограничить образование одним только базовым уровнем (владение искусством письма и чтения). Именно в «графическую» эпоху возникает потребность в институционально оформленных цен-

¹⁷ Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М., 1998. С. 155.

трах образования. По мере дифференциации и усложнения общества в нем появлялось все больше «социальных мест», предполагавших не только умение читать, писать, но и понимать прочитанное, толковать его.

Высокая стоимость значительных по объему текстов приводила к тому, что сильные мира сего собирали их в определенных местах, создавая первые собрания рукописей. Важным институтом, который отвечал за образование, была, со времен античной древности, **библиотека** (самая знаменитая библиотека древнего мира – Александрийская – насчитывала около 500 тыс. свитков). Там, где концентрировались тексты, там собирались и ученые («книжные люди»), обучавшие молодежь наукам и искусствам.

В Средние века университет обязательно включал в себя библиотеку, поскольку образование и здесь основывалось на авторитетной книге: на Библии, на сочинениях отцов Церкви, на метафизике и логике Аристотеля, на изучении кодексов Юстиниана, на сочинениях Птолемея, Эвклида, etc...

Учитель в письменной культуре – это прежде всего проводник по книжным сокровищам. Он выполняет роль посредника: он учит, следуя книгам, он дает им свой голос (пересказывает их), он выявляет их смысл (толкует и комментирует). Для того, чтобы читать книги, надо знать языки, на которых написаны авторитетные тексты, дисциплинировать ум логическими упражнениями, овладеть герменевтическим искусством. Как опытный лодман, он ведет школьников от книги к книге, от одной области знаний к другой и знакомит их с «картой» книжных сокровищ культуры.

Письмо и социальная дифференциация. Письмо разделяло традиционное общество на грамотных и неграмотных, на образованных и необразованных. Расширение горизонтов сознания и дифференциация мира в его рукописной презентации привело к новой форме неравенства – к неравенству в образовании. Письменный текст как базовая культурная форма традиционного общества предполагает обучение техникам письма и чтения всеми членами социума. К грамоте в традиционном обществе приобщались, как правило, не «все», но «лучшие», только члены привилегированных сословий. Только «лучшие» получали образование. Прежде всего, это были люди

церкви, ученые, врачи и юристы. Соответственно, приобщение к практикам письма и чтения выполняло функцию социального «лифта», открывавшего для выходцев из «подлых» сословий путь к повышению социального статуса. Грамотность и «книжные знания» стали восприниматься как атрибут власти над душами (жрецы, священники, философы, ученые и т. д.) и телами (правители, судьи, врачи). Соединение власти и письменного слова (высеченного на камне, начертанного на папирусе, пергамене, на бумаге) сохраняло свою актуальность вплоть до введения всеобщего начального и среднего образования (в европейских странах это произошло во второй половине XIX-го – первой пол. XX века).

Люди, которых образовывала «жизнь» (а эти люди едва ли не до середины XIX-го века составляли основную массу населения Европы), были отделены от тех, кого «образовала» не только жизнь, но и книга. В отличие от устных речевых жанров, которые были в равной мере доступны всем носителям языка (за исключением, пожалуй, магических практик волхвования, закрытых в своей эзотерической части от «непосвященных»), письменная речь разделила людей на умеющих писать и читать и на не знакомых с грамотой, а грамотных – на образованных (то есть тех, кто мог свободно ориентироваться в кругу образов и смыслов, сохраненных папирусом, пергаменом, бумагой) и необразованных, то есть использующих письменность преимущественно в практической деятельности (хозяйство, торговля, частная переписка, ведение дел в судебных и государственных инстанциях и т. д.). В цивилизациях, освоивших техники письма и чтения, образованным в полном смысле слова мог считаться лишь человек знакомый с важнейшими, конститутивными для данной культуры текстами.

Внутренняя организация письменной речи (слово, которое способно за себя постоять). Фиксация слова, его обращенность не к конкретному человеку, а к неизвестному читателю фокусирует внимание и писателя, и читателя на логической и эстетической составляющей текста. И в самом деле, когда мы высказываемся в устной форме и обращаемся к конкретному человеку или к определенной группе людей, тогда многое не проговаривается, но подразумевается. Ведь в очной беседе и «на глаз видно», поняли тебя или нет; и если тебя не

поняли, то можно разяснить свою мысль собеседнику, привести примеры и т. д. Но речь пишущего должна обладать способностью к автономному плаванью, то есть должна быть грамматически и логически так развернута, так оснащена, чтобы быть способной к «самостоятельному» объяснению с читателем¹⁸. Только немногие тексты оказываются готовы к дальнейшему (в несколько столетий или тысячелетий) плаванью. Чтобы корабль плыл, он должен иметь всё необходимое для выхода в открытое море неведомых времен, а читатель, встречающий книгу – этот «корабль мысли» (Ф. Бэкон), должен быть хорошо образованным, то есть приобщенным к традиции, в границах которой «снаряжали корабль».

Хотя создание письменного текста требует большего времени и больших усилий, чем устная беседа (или монолог) «на тему», но зато и смысло-порождающая (и эстетическая) сила письма (в дальней перспективе) на порядок больше, чем самое яркое и выразительное слово оратора, народного трибуна. Письменная речь – это полностью развернутая, тщательно «выделанная» речь. Это речь, которая прошла через рефлексивную работу со словом и смыслом, это речь с упорядоченной структурой, речь, нацеленная на предельную полноту артикуляции мысли, переживания, памяти и образа.

Следует отметить и то обстоятельство, что как устойчивое целое, как развернутая мысль отдельного человека о том или ином предмете (или как его развернутое восприятие, переживание) текст не мог родиться без графической фиксации речи. Именно «закрепление-закрепление» слова позволяет удерживать в сознании содержание и порядок того, что было сказано ранее (последовательность повествования, рассуждения, etc.), дает возможность довести мысль до логического конца, придать ему форму, а в конечном счете – позволяет писателю родиться в качестве автора.

Писать и говорить. Распространение письменной речи со временем приводит к угасанию высших форм устной речи, к исчезновению фигуры сказителя, к деградации фольклор-

¹⁸ При этом автор высказывания может строить свою речь как ясную, прозрачную или, напротив, как сложную, предполагающую множественность интерпретаций, провоцирующую разнородность прочтений.

ной культуры. Причем исчезают, вытесняются на периферию народной жизни сначала именно «большие повествовательные формы». Более компактные устные речевые жанры сохраняются дольше. Но, в конце концов, исчезают и они¹⁹.

Устное слово как таковое – в письменную эпоху – сохраняет свое значение и даже становится изощреннее и богаче, но характер его существенно меняется. Начитанный человек «говорит» не так, как человек, не вкушивший сладости изысканного, обдуманного слова. Образованный человек «говорит, как пишет», он – вольно или невольно – выражается, как принято говорить, «литературно». Нет сомнения в том, что письменная речь обогащает и усложняет устную речь, но верно и обратное: из подвижного, изменчивого разговорного языка автор черпает все новые и новые экспрессивные возможности для «запечатленного» слова.

Если воздействие письменной речи на устную дисциплинирует последнюю и делает ее более разнообразной, то обратное воздействие имеет прямо противоположный смысл: живое слово «улицы», прорываясь сквозь погранзаставы литературного языка и закрепляясь в его тезаурусе, спасает письменную речь от «высыхания» и омертвления, способствует

¹⁹ Многообразные жанры «устной народной традиции» (эпические сказания, сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки и т. д.) сохраняются, воспроизводятся и остаются продуктивными очень долгое время, фактически, до момента, когда традиционный уклад деревенской жизни распадается под натиском городской (буржуазной) цивилизации, когда крестьяне покидают свои деревни и наполняют города. Причем живучесть устных текстов напрямую зависит от их размера и «серьезности». Первым исчезает миф, затем – эпическое сказание. Малые формы, связанные с повседневной жизнью, с бытом (сказки, песни, загадки, поговорки, пословицы), сохраняют свое значение до тех пор, пока значительная часть населения продолжает жить в сельской местности и занимается традиционными формами сельского хозяйства, то есть до тех пор, пока его не пропустят (в обязательном порядке) через систему начального и среднего образования. В России усеченная, но живая и широкая фольклорная традиция сохранялась примерно до середины XX века (осколки ее, разбросанные по глухим углам России, до сих пор еще собирают фольклорные экспедиции), а такие «компактные» ее жанры, как пословица и поговорка, удерживаются языком даже в условиях большого города.

ее обновлению. Если устная речь под воздействием письменной становится более «правильной» и «чистой», то письменная речь под воздействием разговорного языка «оживает», обретает новые краски, становится ярче и выразительнее.

Когда устное слово пропускается через практику чтения (тем более – письма), оно обогащается лексикой, которая в разговорной речи отсутствует; меняются читательского и писательского/читательского и писательского под воздействием письма/чтения грамматика и синтаксис разговорных жанров. Не вдаваясь в детали трансформации языка в ходе диалогического взаимодействия двух речевых стихий, дадим общую характеристику тех перемен, которые происходят с устной речью при тесном взаимодействии с речью письменной, «книжной»: разговорная речь, во-первых, усложняется (в частности, лексический состав речи приобретает многослойность, его объем и разнообразие многократно возрастают), во-вторых, становится более упорядоченной, логически последовательной и, наконец, в-третьих, обогащает свой лексический состав.

В то же время обработанный письмом и чтением язык заметно унифицируется. Если устная речь изобилует «местными» особенностями (в каждом регионе – свой тезаурус) и, незаметно для ее носителей, претерпевает какие-то изменения, то письменный язык более консервативен, поскольку опирается на набор авторитетных для данной культуры текстов.

Итак, в культурах с развитой письменностью с неизбежностью возникают и вступают во взаимодействие два языка – язык устной речи и «высокий» язык письменности (классический древнегреческий язык и разговорная речь – койне, церковнославянский и древнерусский). Впрочем, картина со временем еще более усложняется: устная речь образованных людей, как было сказано, со временем приобретает заметные отличия от разговорного языка «улицы», «рыночной площади» (отсюда – два типа устной речи), в свою очередь, и письменная речь, по мере своего обмирщения и демократизации разделяется на язык, придерживающийся языковых норм классической (для данной культуры) письменной речи, и язык, который сближается с языком разговорным, народным (например: древнерусский письменный и церковнославянский языки). Сосуществование двух языков – письменного и устного – явление очень продуктивное. Оно

существенно обогащает язык, развивает его. Стирание различий между устной и письменной речью неизбежно ведет к упрощению языка. Так происходит, когда границы письменной и устной речи размываются. Но это уже другая тема – тема взаимодействия письменной речи и речи устной в эпоху Гуттенберга и в эпоху глобальных электронных сетей.

Письмо и авторство (рукопись как топос индивидуализации). Размещение слова на поверхности отделенной от человека вещи придало высказыванию отдельного человека (частного лица) ту крепость и устойчивость, которую оно не могло иметь в культурах, базировавшихся на устных текстах. Письменность сделала высказывание «частного лица» более долговечным, чем нарративы дописьменных культур, если только эти последние не были позднее зафиксированы на папирусе, пергамене или бумаге²⁰. Создание рукописи – дело пишущего. Само собой понятно, что появление письма не сразу приводит к созданию произведений, которые отличает яркое авторское начало. Письменность начинается с записей законов, с использования письма для изложения сакральных текстов, эпических сказаний, для увековечивания героических деяний легендарных предков и фиксации свершений выдающихся современников. *Но возможность сохранения высказываний, производимых отдельным человеком, создает предпосылку для рождения автора с особенным стилем, с особенной темой, с характерным для него способом ставить вопросы, вести повествование, etc.*

Произведения устного народного творчества анонимны. Повествования, бытующие в архаических сообществах (миф, эпос, сказка), обладают «собственным лицом», но это лицо

²⁰ Эпоха рукописных произведений – это эпоха, в которую авторское слово стало возможно с «технической точки зрения». Однако мы знаем целые исторические периоды (в европейской истории – это Средние века), когда создатели текстов не держались за свое «авторство» и не стремились ограничивать свое суждение от суждений, почерпнутых из Традиции. Но даже в культурах, которые не поощряли авторское начало в текстах, автор все же присутствует как авторитетное имя (имена Василия Великого, Климента Александрийского, Августина, Фомы Аквинского и др. были хорошо известны средневековым «книжникам»).

(лик) рода, а не отдельного человека. Отдельный человек в архаическую эпоху присутствует не как индивидуальность, а только как наделенный сознанием орган родового тела. Родовому телу принадлежит родовое сознание.

Изобретение письменности впервые создало технические возможности для появления текстов, способных удерживать на себе авторскую индивидуальность. Именно письмо «выводит» писателя в авторы, в лицо, ответственное за созданные им образы и высказанные суждения²¹.

Зафиксированный в акте письма текст (если только перед нами не простая фиксация мифа, не сакральный текст, не государственный или хозяйственный документ) воспринимается как ответственное высказывание того, кто его писал, кто «приложил к письму руку». Пишущий говорит о том, что он видел, слышал, о чем размышлял, etc.. Создателю текста и его переписчику предъявляются разные требования: переписчик не должен вносить в текст ничего «от себя», его задача – воспроизвести текст в том виде, в каком он получил его для «размножения». Имя переписчика значения не имеет, значение имеет имя автора. Переписчик похож на сказителя, его удел – анонимность. Он – отчужденный от смысла «голос автора», тот, на кого падает функция «сказителя» архаических сообществ.

Печатная книга (слово из машины: от записи к оттиску)

Следующий шаг в освобождении текста от тела был связан с изобретением печатного станка, и последствием это-

²¹ Писатель для читателя совсем не то же, что сказитель для слушателя. Сказитель (азд, бард) оглашает «быль», он – красивый голос и обширная память, но не создатель сказываемого, не автор. Именно благодаря этому слово сказителя (всегда высокое, чаще всего – сакральное) способно сплавивать вокруг себя всех носителей языка, чья общность воспроизводится в акте исполнения мифического слова или слова, повествующего о героических деяниях прошлого. Это «слово вообще», это слово Предков, Бога, Мудрецов и Героев, но не слово «простого смертного». Сила такого слова (и, одновременно, ограниченность) в том, что оно возвышается над отдельным человеком, над его персональной жизнью и судьбой и предполагает только одну позицию: позицию почтительного внимания, усвоения и соотношения своего поведения с образами мудрости, красоты, храбрости, мужественности, женственности, силы, etc.

го события было отделение рукописи от «печатного издания» (книги, журнала, газеты). С момента вхождения в европейскую культуру книгоиздательской технологии за рукописью закрепляется этап создания текста. Соответственно, рукопись теперь получает четкое деление на черновик и беловик (беловик – рукопись, полностью готовая к «набору»)²². Публичное же бытование текста обеспечивают теперь не списки рукописи, а типографии, издательства, редакции, книжные магазины, публичные библиотеки, etc. Фигура переписчика в эпоху Гуттенберга совершенно исчезает там, где речь идет о предназначенных для общества «больших» текстах²³. Печатное издание выступает в роли конечного, обращенного к широкой публике итогового продукта письма. Именно с ним теперь имеет дело читатель, именно набранный в типографии текст воспринимается как конечный продукт письма, рассчитанный на прочтение, на общественный резонанс и – в пределе – на вхождение в традицию, на место в «культурном архиве». Такой текст (высказывание, вышедшее за пределы частного, дружеского круга) обретает форму печатного издания (книга, журнал, газета) и именуется «публикацией», то есть высказыванием, претендующим на общественное звучание.

Письмо, печать и объективация текста. Имея дело с печатной книгой, мы взаимодействуем с изделием, изготовленным машиной, с едва ли не первым продуктом серийного производства. Экземпляры одного издания книги полностью тождественны другу другу, как копии одной матрицы, одного набора.

²² О феномене черновика и беловика и его экзистенциальных основаниях, об осмыслении статуса черновика и беловика в европейской культуре см.: Лехциер, В. Л. Феноменология «пере»: введение в экзистенциальную аналитику переходности. Самара, 2007. С. 206–233.

²³ Фигура переписчика исчезла не сразу. Век от века разрастающийся государственно-бюрократический и судебный аппараты предполагали рост «бумагооборота» и были теми институциями, в коридорах которых фигура переписчика сохраняет видное место вплоть до изобретения печатной машинки, то есть до XX века. В пространстве повседневности мы встречаемся с переписчиком. Это секретарь знатного или богатого человека.

Дистанция, разделяющая человека и визуально зафиксированное слово, возрастает. Мы по-разному воспринимаем текст, написанный от руки, и текст опубликованный, печатный. Отчуждение человека от печатного слова коррелирует с его публичным статусом. Все можно написать, но не все можно напечатать. Первоначально права печати удостоивались только авторитетные тексты (в первые века после изобретения книгопечатания). Ими были преимущественно тексты Священного Писания, труды отцов и учителей Церкви и произведения античных авторов²⁴. Обретение рукописью печатной формы уже само по себе (в первые века печатной эпохи) означало признание за текстом «достоинства», «авторитета», «серьезности» (первоначально печати удостоивались только признанные культурой тексты и комментарии к ним). На печатной книге долго лежал отсвет высокой, внеположной человеку Истины. Должны были пройти века, прежде чем печатное слово перестало внушать уважение только потому, что оно — печатное. Разрыв связки опубликованное/признанное произошел только в XIX веке, когда печать стала массовой, дешевой и.. популярной.

Печатная книга — продукт серийный. Это едва ли не первая вещь доиндустриальной эпохи, утратившая ремесленную уникальность и рукодельность и превратившаяся в копию без оригинала (в основе книги лежит уникальная авторская рукопись, но отпечатанная в типографии книга лишена оригинальности изначально). Все книги одного тиража похожи друг на друга как две капли воды, они — порождения одной матрицы. После того как текст опубликован, его матрица (типографский набор) рассыпается на атомы-буквы и используется для верстки совсем другого текста, другой книги. При этом уникальный для каждого текста порядок слов (порядок, определяемый авторской рукописью) в печатном издании охраняется, как святыня. Культ автора и авторства расцветает в Европе одновременно с распространением печатной книги, с представлением об авторском праве и правах издателя, с объявлением войны с плагиатом, etc.

²⁴ Во многом это было связано с тем, что печатные книги на первых порах обходились дороже рукописных.

По мере распространения книгопечатания отношение человека к слову меняется: печатное слово — это уже не слово, написанное этим-вот человеком, на визуальном уровне оно совершенно безлико и лишено какой бы то ни было связи с конкретным человеком. Книга, журнал, газета не обнаруживают человеческой телесности, хотя и отсылают к ней, предполагают ее. Размер книги не может быть ни меньше, ни больше определенной величины, ее вес, шрифт, цвет бумаги, etc... также имеют свой «регламент». Когда мы берем в руку книгу, то понимаем, что она рассчитана на глаз и руку человека. Типографический оттиск продолжает удерживать материальность субстрата, доносящего до читателя авторское высказывание: черные буквы по-прежнему бегут по белому полю и книгу по-прежнему можно брать в руки, подчеркивать заинтересовавшие тебя фрагменты, выделять слова и предложения, ставить на полях «галочки», замечания и иные приемы активного чтения.

Печатная книга приспособлена к привычкам и возможностям тела так же, как и рукописная книга, но все же наше восприятие печатного текста — совсем не то, что наше восприятие рукописи. Связка печатная книга-тело работает иначе, чем связка тело-рукопись. Большая часть печатных текстов — это типографически исполненная презентация авторского слова. При этом любой печатный текст выглядит так же, как и другие печатные тексты; печать представляет собой однородное поле знаков, символов и смыслов. Один печатный текст — с внешней стороны — похож на другой, ценность его как высказывания завоевывается не сразу, она возникает по ходу борьбы с другими, равными ему (по виду) текстами, претендующими на внимание и признание со стороны читателя. Если в Средние века книга была самостоятельной вещью, а ее духовно-онтологический «вес» был фундирован верой в боговдохновенность священного Писания и священного Предания, была словесной иконой Бога, то печатная книга индустриальной эпохи тяготеет к тому, чтобы стать «прозрачной» для заключенного в тексте книги смысла. Безличность шрифта, печати, на которые мы обращаем внимание, открывают для нас содержательно-смысловой и эстетический план текста (а не книги как вещи) и помогает сосредоточить на нем свое внимание. Не Бог, не Божье Слово, а

универсальное поле смысла – вот что скрывается за типографски-безличным воспроизведением письма на книжных страницах. Смысл отчуждается и от «тела текста», и от тела собственно человеческого. Печатный текст почти перестает быть зрелищем «для глаз», но усиливает свои позиции как зрелище для ума. Все меньше текст: «Мысль, смысл узнается как сила, завоевывающая автономию от телесности; отсюда берет начало привычка понимать чтение/письмо как операции ума со смыслами, лишь по недоразумению связанные с глазами и пишущей рукой. Не важно, где и как, важно – что: так формируется трансцендентальное поле смысла»²⁵.

Демократизация письма. «Отбившийся от рук», «отлившийся» в печатную форму, текст воспроизводится во множестве «экземпляров» (книги, журнала, газеты). Печатное слово – это письменная речь, которая достигает не только высших слоев общества, но и тех, кого когда-то именовали «простецами». История книгопечатания – это история обмирщения и опрощения письма. Если до наступления эпохи широкого распространения печатного слова в Европе доминировали религиозные и связанные с институтом государственной власти тексты «высокого стиля» (хроники, летописи, своды законов, межгосударственные договоры), то в эпоху печатного тиражирования текстов на первый план постепенно вышли не просто книги, обслуживающие мирские цели и интересы, но те из них, которым удалось просочиться в повседневность, в быт. Учебные, технические, справочные, художественные, занимательные сочинения постепенно отодвинули в сторону книгу религиозную, философско-метафизическую и научную. Книга стала обслуживать преимущественно интересы массового читателя, отвечать на его потребности.

Постепенно печатное издание становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Удешевление печатного производства не могло не привести к «захламлению» библиосферы. Книга теперь – источник полезной информации и доступная форма отдыха, способ заполнить досуг или просто «убить время» (транспорт, очередь, пляж, больница и проч., и проч.). Однако с наступлением эпохи кино и телевидения, а с конца минувшего столетия – эпохи компьютерных сетей и мобиль-

²⁵ Иваненко Е. А., Юрецкая М. А., Савенкова Е. В. Указ. соч. С. 36.

ной связи, книги как средство заполнения свободного времени были отодвинуты на периферию потребительского спроса.

Если до наступления эры массовой, доступной книги (которая наступила примерно с конца XVIII-го века) над ней «священнодействовали», в нее «погружались», о ней размышляли, ее перечитывали и толковали, то распространение «непритязательной» книги растиражировало новый способ обращения с письменным словом. Чем больше становится книг, чем более легким оказывался путь от рукописи к печатному изданию, тем больше ступенькается книга (книга-как-вещь) и тем большее значение приобретает, с одной стороны, автор как создатель произведения (религиозного, философского, литературного, научного..), с другой – ее читатель.

Печатная книга и образование. По ходу демократизации общественной жизни образование все дальше отходит от идеала *humanitas* и все больше ориентируется на освоение, во-первых, собственно учебной литературы и, во-вторых, литературы «по предмету», по той специальности, которую осваивает учащийся.

Книга по-прежнему остается образом европейской культуры, а образованность связывается с начитанностью, однако чем дальше, тем больше возникает потребность отделять «общую образованность» от «специального» образования по широкому спектру отраслей научного знания и непрерывно расширяющейся номенклатуры профессий. Так называемое «общее образование» («культурность») по-прежнему связывается с освоением корпуса «классических» для европейской культуры текстов.

Однако уже в XIX столетии приобщение к классической культуре и классическим текстам опускается на уровень «базового», «среднего» образования, поскольку высшая школа обучает конкретной профессии и знакомит человека с крутом литературы по этой специальности. Школьный учитель последних двух столетий печатной эпохи в наибольшей степени сохраняет тип поведения, характерный для учителя «допечатной» культуры: он рассказывает ученикам «о жизни», о мире, о человеке, о прошлом и настоящем, он учит родной речи (письменной и устной), приобщает их к классической литературе и к началам наук; он не только обучает, но и воспитывает своих учеников. При этом понятно, что школьное осво-

ение авторитетных для европейской и национальной культуры текстов не может уже претендовать ни на широту, ни на основательность. Усвоение сложных и отдаленных от современности текстов 11–17-летними подростками поневоле оказывается поверхностным.

Что касается университетов и академий, то здесь перед преподавателем стоят по большей части другие задачи. В эпоху Гуттенберга он не столько комментирует авторитетные тексты, сколько *выступает в качестве компетентного читателя новейшей литературы по предмету*. В круг его профессиональных обязанностей входит ознакомление студентов с *новыми* идеями, концепциями, гипотезами и книгами. Профессор – это специалист, который учит студента отбирать из библиосферы то, что достойно внимания профессионала, от того, чем не стоит обременять память. В ситуации книжного избытка и феномена «доступной книги» (книготорговая сеть и рационально организованное библиотечное дело приблизили книгу к массам) обостряется **проблема поиска и отбора произведений, заслуживающих того, чтобы их прочитали**. Книга становится *слишком много*, и требуется приложить немало усилий, чтобы человек научился ориентироваться в библиосфере самостоятельно. Профессор передает студенту те навыки, тот профессиональный опыт, которые должны облегчить ему ведение поиска и осуществление отбора текстов. Он отслеживает уровень освоения студентом той или иной дисциплины и должен привести его к социально приемлемому (на данный момент) уровню профессиональной компетенции. Преподаватель «эпохи позднего Гуттенберга» (если говорить в этой ситуации о гуманитарном образовании в таких его областях как философия, филология, история) должен или мыслить вслух (лекция), или разыграть интеллектуальную драму (семинар), или обучать студентов навыкам работы с текстом (коллоквиум).

Если в «рукописном прошлом» читатель знал, что книга – кладезь премудрости, источник знания, путь спасения, и склонен был доверять книге, то в эпоху массовой печати «образованность» и «начитанность» перестают восприниматься как синонимы, хотя и сохраняют известную близость. Теперь образованный человек – это тот, кто *умеет отбирать и читать* книги, работать с ними, самостоятельно их осмысливать.

На колоссальный рост номенклатуры книжных издательств академическое сообщество ответило подготовкой все новых и новых энциклопедий, справочников, библиографических изданий по различным отраслям знания и углублением специализации в университетском образовании.

Печатный текст и новые техники чтения. Те, кому сегодня за 30, знают не по наслышке, что в отличие от печатного текста рукопись с трудом поддается быстрому чтению: слишком неоднородно поле начертанных рукой знаков, слишком прихотливый, сложен, а порой и живописны сами эти знаки. Впрочем, в рукописную эпоху не было и необходимости в быстром чтении. Ведь книги, удостоившиеся прочтения, читали не спеша, «с чувством, с толком, с расстановкой», не жалея на их изучение ни сил, ни времени. Читая авторитетную книгу, человек произносил (чаще – вслух, реже – «про себя») слово за словом, предложение за предложением. Чтение было неспешным, и слово воздействовало на читателя двояко: и как графический знак, и как сочетание звуков, которое чтец произносил вслух или проговаривал «про себя». **Записанное слово**, если оно произносится вслух, **воздействует «телом на тело»** (так происходит и сегодня, когда «по слогам» читают дети, когда поэты декламируют свои стихи, когда верующие люди читают молитвы). Даже редуцированный вариант озвучивания текста – проговаривание слов «про себя» – представляет собой свернутое воспроизведение движений речевых органов (как если бы я вслух произносил слово и делал соответствующие движения голосовыми органами). Виртуальное «фонетическое тело слова» («виртуальная фонема») воздействует на тело, а тем самым (через психофизиологические механизмы) – на его сознание и подсознание.

Печатная книга, особенно книга, изданная типографским способом, книга с упрощенным, единообразным, отчетливо пропечатанным шрифтом, книга, расчлененная на главы и параграфы, на страницы и абзацы, существенно ускоряет чтение²⁶,

²⁶ Стоит отметить, что визуальное упрощение книжной страницы при переходе от рукописи к печати происходило постепенно. Сначала наборщики просто копировали те шрифты, которые использовались в рукописных книгах; печатная книга копировала книгу рукописную; отличие страницы печатной книги от страницы книги

а резко возросший (по сравнению с рукописной эпохой) объем прочитываемой средним читателем «печатной продукции» стимулирует переход к практикам скорочтения²⁷.

Чтение *одними глазами* (а тем более – скорочтение) снимает со слова только верхний слой (его суммарное «о чем»). Количество «информации», поглощаемое при таком чтении за единицу времени, увеличивается, а воздействие письма на тело, душу и ум читателя уменьшается, поскольку текст здесь, по сути, не прочитывается, не продумывается, а всего лишь *просматривается*.

Скольжение глаза по странице закрепляется техниками скорочтения, основанными, как уже было сказано, на отделении чтения глазами от «чтения устами» (пусть и «про себя»). Практика быстрого чтения не предполагает медитативного погружения в слово, в высказывание, в произведение, она не предполагает рефлексивной работы по его пониманию и осмыслению, она предполагает стремительное движение сквозь текст в поисках «необходимой информации» (усовершенствованная практика «ознакомления» с текстом). Задачей быстрого чтения может быть поиск такого текста, такого его фраг-

мент рукописной было невелико и состояло, прежде всего, в полном единообразии рассыпанных на ней знаков, что делало чтение более удобным и быстрым. Постепенно рукописные шрифты перестают быть ориентиром, и печатники выработали собственно типографские шрифты, которые век от века становятся проще, лаконичнее и миниатюрнее. Соответственно, объем слов и предложений, умещающихся на одной странице, увеличивался, а скорость чтения – возрастала. Упрощение визуальной картины печатной страницы было одним из стимулов к упрощению рукописных шрифтов (этого же требовал и универсализм абсолютной монархии и новые, буржуазные, демократические формы жизни). Рост канцелярского бумагооборота в свою очередь требовал упрощения правил право- и чистописания. Буквы рукописи, чем дальше, тем больше, имитировали печатные шрифты, их начертание упрощалось и становилось все более единообразным, лишены региональных и индивидуальных особенностей.

²⁷ Техника скорочтения предполагает, что слова уже не проговариваются человеком, а «сканируются» глазами, причем самым эффективным ускорителем чтения оказывается способность восприятия страницы целиком, что предполагает отказ от навыка построчного чтения, от инстинктивного движения глаз слева направо.

мента, который заслуживал бы медленного чтения, с присущей ему концентрацией внимания и неспешной рефлексией.

Ускорение чтения обусловлено не столько упрощением графического образа слова самим по себе, сколько потребностью в адаптации к колоссальному росту числа доступных (для прочтения) текстов. Феномен скользящего чтения – в условиях цивилизации, миновавшей стадию книжного «голода», – это неизбежность, эффект колоссальной перенасыщенности библиосферы²⁸. Восприятие текста в акте быстрого чтения (и тем более – скорочтения) можно сравнить с восприятием фильма, когда мы прокручиваем его на видеоплеере в режиме «медленной перемотки». Перемотка искажает изображение, хотя и позволяет видеть то, что происходит в кадре. В любой момент мы можем остановить пленку для того, чтобы просмотреть привлечший ваше внимание фрагмент фильма в нормальном темпе, а то и зафиксировать тот или иной кадр, чтобы рассмотреть его во всех подробностях. Режим быстрого чтения (как и режим «медленной перемотки») дает возможность *опознать уже знакомое* и понять, «куда все это движется». Работа истолкования и осмысления прочитанного/просмотренного в таком режиме невозможна. Чтобы начать ее, необходимо прежде всего сбавить скорость, уменьшить темп движения по тексту с тем, чтобы обрести опорные пункты не в том, что понятно, а в том, что непонятно (его,

²⁸ О том, какое влияние на социальный статус книги, на ее «читательскую судьбу» оказывает сопровождающее техническое усовершенствование печати и лавинообразный рост числа авторов, писали многие аналитики. Последствия этой «девальвации печатного издания» многочисленны и требуют специального рассмотрения. Мы ограничимся только одной цитатой из книги А. Гениса: «Новые издания вытесняют старые с такой стремительностью, что магазин напоминает газетный киоск. А ведь книги, как слоны и черепахи, всегда были рассчитаны на долгую, во всяком случае превышающую авторскую, жизнь. Поэтому, размножаясь, как амебы, книги душат самих себя. Перенаселение понижает ценность отдельной особи. Чем гуще толпа, тем труднее из нее выбраться. Книжная гора оседает под своим весом и превращается в песок, в Сахару, где не найти и не отличить одной книжной песчинки от другой» (Генис, А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. М., 1997. С. 131).

непонятное, надо еще увидеть, опознать в качестве непонятного), что «трогает», что «задевает» «за живое».

Ускоренному («редуцированному») чтению соответствует ускоренное, «журналистское» письмо. Последнее создает тот тип строения текста, который постепенно деформирует язык «большой» (книжной) печати. В эпоху Гуттенберга человек впервые сталкивается с письмом-на-каждый-день, с «одноразовой письменностью». В одних странах в середине XIX-го столетия, в других – в конце того же века газета и популярный журнал становятся «духовной пищей» миллионов горожан. Доминирование в практике повседневного чтения газеты и популярного журнала приучило читательскую массу к произвольному перенесению технологий ускоренного чтения (вполне уместного при контакте с газетным текстом) на книгу. «Массовая» книга подстраивается под стандарты газетного и журнального письма, стремясь любой ценой добиться занимательности, а следовательно – коммерческого успеха у «широкой читательской аудитории». Появился даже особый (карманный и дешевый) книжный формат, предполагающий одноразовое использование (прочтение) книги. Одноразовые тексты должны быть просты, занимательны и информативны. Они изначально создаются с расчетом на легкое, «скользящее» чтение. Построение текстов, которые выходят за рамки работы (учебы), от десятилетия к десятилетию упрощается. Отвыкнув от медленного, вдумчивого чтения, даже образованный и мотивированный читатель бросает «трудный» (замысловатый) текст, прочитав страниц 5–10 и убедившись, что быстро через него «не проскочить»²⁹.

Уже практика быстрого чтения (не говоря о скорочтении) ведет к «гомогенизации» разнородных текстов. Оттенки смысла, стилистические нюансы, оригинальность высказывания приносятся в жертву скорости. Тексты начинают произвольно, как бы сами собой, сливаться друг с другом

²⁹ Впрочем, для небольшой части читателей-интеллектуалов именно «темный», трудный текст оказывается более привлекательным, чем простой, ясный текст. Не находя в ясном тексте глубины (тайны), его оставляют ради текста трудного, требующего истолкования. Ведь только усилие истолкования дает возможность заявить о себе читателю.

в одну текстовую массу, где жанры (детектив, любовный роман, фэнтези, книги о здоровье, публицистика, газетно-журнальные новости, etc.) еще различимы, а отдельные тексты и авторы – внутри каждого из жанров – сливаются до неразличимости.

Впрочем, постепенное стирание границ между разными текстами и речевыми жанрами в эпоху «позднего Гуттенберга» – только робкий намек на те мощные сдвиги, которые переживают визуальные речевые практики с конца XX века, с эпохи «раннего Майкрософта». Сегодня стремительно складывается новая вербально-образно-сетевая среда, в которой практики письма и чтения претерпевают весьма существенные трансформации. «Генеральная ставка» зафиксированного слова все больше и больше смещается в плоскость его экранной симуляции, где тексты всех веков и народов складываются в единый электронный гипер-текст. Новое место дислокации речи не может не вести к серьезным трансформациям как слова, так и человека. Как должен измениться человек, чтобы приспособить себя к новой (экранно-симулятивной) форме визуализации слова? В чем специфика экранного телотекста? Об этом пойдет речь в разделе «Слово на экране».

Продолжение в следующем выпуске.